ПЕШКОВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ



Доктор филологических наук, Институт филологии и истории, Российский государственный гуманитарный университет, аналитик. Москва, Россия.

E-mail: ivpeshkov@gmail.com

УДК 808

О(Т)РЕЧЕНИЕ МЫСЛИ. ДУБЛЬ ТРИ

В статье исследуется укорененность психологического наследия Л. С. Выготского в классической и новой риторической парадигме. Автор рассматривает его фундаментальный труд «Мышление и речь» сквозь призму исторической преемственности отечественной теории слова — от неканонических идей К. П. Зеленецкого об изобретении («произрождении») мыслей через лингвофилософскую концепцию А. А. Потебни к психологическому синтезу XX века. Специфика глобального кризиса речевой культуры столетия осмысляется как кризис принципов риторического изобретения (инвенции) и замещение живого общения тотальной коммуникацией, а обобщения — идеологическими псевдопонятиями. На основе сопоставления семиотических подходов Л. С. Выготского и А. А. Потебни реконструируется абстрактная модель речемыслительного процесса (герменевтический круг риторики), в которой «значение» выступает базовой единицей анализа внутренней речи. В контексте теории поступка М. М. Бахтина обосновывается дополнительность его идей с экспериментальной психологией Выготского: если Бахтин обобщал общение для поиска подходов к внутренней речи, то Выготский выводил механизм внутренней речи вовне, обнаруживая общение внутри самого обобщения. В финальной части работы на материале социокультурного глоттогенеза России XIX–XX вв. демонстрируется, как историческая трансформация внутренней речи общества предопределила переход от органического единства интеллекта и аффекта к технологиям эмоционального заражения и «обобществления чувств».

Ключевые слова: Л. С. Выготский, М. М. Бахтин, А. А. Потебня, К. П. Зеленецкий, философия риторики, риторика поступка, изобретение (инвенция), внутренняя речь, общение, обобщение, псевдопонятие, герменевтический круг.

Igor V. Peshkov

Russian State Humanitarian University.
Moscow. Russia
E-mail: ivpeshkov@gmail.com

RENUNCIATION OF THOUGHT

The article explores the deep-rooted connection of L. S. Vygotsky's psychological legacy with the classical and new rhetorical paradigms. The author examines Vygotsky's fundamental work, Thinking and Speech, through the lens of historical continuity within the Russian tradition of the theory of the word — tracing it from K. P. Zelenetsky's non-canonical ideas on the invention («rogeneration») of thoughts, through A. A. Potebnya's linguo-philosophical framework, to the XX century psychological synthesis. The global crisis of XX century speech culture is conceptualized as a crisis of the principles of rhetorical invention (inventio), where authentic human dialogue is systematically replaced by mass communication and ideological pseudo-concepts. By comparing the semiotic models of L. S. Vygotsky and A. A. Potebnya, the study reconstructs an abstract matrix of the speech-thinking process (the hermeneutic circle of rhetoric), in which «meaning» serves as the foundational unit of inner speech analysis. Within the framework of M. M. Bakhtin's philosophy of the act, the author argues for the complementarity between Bakhtin's methodology and Vygotsky's experimental psychology: while Bakhtin generalized dialogue to approach inner speech, Vygotsky externalized the mechanism of inner speech, discovering dialogue inside generalization itself. The final section utilizes the history of Russian socio-cultural glottogenesis in the XIX and early XX centuries to demonstrate how the transformation of society's inner speech predetermined the tragic shift from the organic unity of intellect and affect to the technologies of emotional contagion and the «socialization of feeling».

Keywords: L. S. Vygotsky, M. M. Bakhtin, A. A. Potebnya, K. P. Zelenetsky, philosophy of rhetoric, rhetoric of the act, invention (inventio), inner speech, dialogue, generalization, pseudo-concept, hermeneutic circle.

DOI: 10.32691/2410-0935-2026-21-110-139

© И. В. Пешков 2026

Преамбула

Иногда название работы не менее значимо, чем сама работа. **Отречение** мысли (при раскрытии скобок в исходном двусмысленном названии) это случай того самого преодоления формой содержания произведения, чему в сущности посвящен весь знаменитый труд Л. С. Выготского «Психология искусства». В XX веке мы глобально отреклись от мысли по крайней мере дважды: после первой мировой войны и в 90-е годы. Выготский был из тех «непогибших» (по формулировке Бахтина), кто пытался бороться с этим отречением, но вступившая в силу первая волна МК — газета и радио — любую мысль гасила: внезапная всеобщая грамотность имела свою обратную сторону, она создала почву для тотальной пропаганды. Лишь в 50–60-е годы эта грамотность дала положительные плоды: на победном импульсе возрождения страны мы улетели в космос. В 60-е вспомнили и про Л. С. Выготского, и про М. М. Бахтина, появились и другие титаны гуманитарного российского ренессанса. Живая мысль стала преодолевать официальный монологизм, но к 90-м случилось второе глобальное отречение. Мы захлебнулись в речах гласности, отказавшись от привычных мыслей и не совладав с непривычными. В результате просто один набор штампов и общих мест (условно говоря, социалистический) заменили другим набором, поданным в красивой (капиталистической) упаковке. Но тогда в 90-х мы еще слабо надеялись, что мысль победит и грамотно соединится с речью, поэтому статья моя имела и другой смысл: **оречение** мысли, напрямую связанный с главной идеей книги Л. С. Выготского «Мышление и речь». Ниже я привожу с минимальными комментариями текст статьи 1996 года, написанной на основе моей кандидатской диссертации «Изобретение как категория риторики» (1989). Я использовал, пожалуй, лучший отрывок этой диссертации, уже и в те годы мало кому доступной, специализировав его и оформив как комментарий к главному труду Выготского, переизданному в год его столетнего юбилея... Потом эта статья была включена в мою монографию «Введение в риторику поступка» (1998), давно затерявшуюся на книжном рынке. Прошло 30 лет. Потерялась ли так же актуальность публикуемой здесь работы, судить не мне.

Переиздание книги льва Семеновича Выготского открывает серию «Философия риторики и риторика философии»[1] совсем не случайно, потому что, хотя Выготский менее всего представал перед широкой публикой в качестве философа и уж конечно не помышлял именоваться ритором, суть всей совокупности его исследований можно определить именно словосочетанием «философия риторики». В нашей ново-российской (постсоветской) традиции этот термин требует пояснения, особенно его вторая, содержательная часть: первая часть пояснения не требует, но тоже в нем нуждается — в стране профессиональных философов (и любителей поэзии) никто не станет спрашивать, что такое философия, ее понятие есть языковая универсалия нашего культурного ареала, означающая такую метапозицию по отношению к жизни, которая одновремен-

[1] Речь идет об издании [Выготский 1996] в год столетия со дня рождения ученого. Моя сопровождающая статья к этой книге была вводной по отношению ко всей серии, в которой чуть позже вышли его «Психология искусства», книги «Поэтика сюжета и жанра О. М. Фрейденберг, «Необходимость себя» М. К. Мамардашвили, «Психологическая герменевтика» А. А. Брудного, «Риторика» Аристотеля (в новом переводе) и др.

но дает возможность находится в оппозиции ко всему сущему, обладая тем не менее всеми пресуппозициями его. Наше алиби в бытии построено на замене поступка его философией, мы философствуем, следовательно, существуем, и semper bene, господа, если позволительно так смешать терминологию двух отечественных кумиров — будущего и прошлого — Михаила Бахтина и Александра Пушкина.

Итак, *философ* — это просто вежливая похвала, а вот риторика как раз наоборот по преимуществу — бранное слово. Так быстро течет время, что сказанное устаревает буквально со скоростью высыхания чернил, и в предыдущей фразе констатируется отчасти лишь предшествующее нынешнему историческому моменту положение дел. (Впрочем, мирное сосуществование в одном предложении риторики и философии возможно в текущей культуре только в ультрасовременности!) Я слышал употребление слова «риторика» по ТВ не в смысле площадной брани за последний год два раза, а я в общем-то редко смотрю телевизор... (теперь я делаю это не так редко, но быстротекущее время течет по кругу — что было очевидно древним, но не всегда видно нам из нашего ультра... — и в этом 1998 году риторика все же по преимуществу бранное слово![2])

Из этого, конечно, не следует, что риторика стала уже всем родной и понятной, как философия, напротив, ориентиры окончательно сместились и если теперь риторика не виснет бранью на вороте, то мало кому ведомо, в каком же смысле она существует, хотя ничего непостижимого в ее смысле нет. «Предмет риторики есть речь»[3] — сказал ныне почти забытый классик отечественной риторики Константин Петрович Зеленецкий в середине XIX века, но — увы! — это было время заката старой риторической традиции, а попытка открытия Зеленецким традиции новой [Барановская 1991] оказалась несозвучной игре общественных сил в россии и риторические профессионалы не успели воспользоваться столь простым и точным осознанием своего предмета, а в XX веке этим предметом прочно завладели философы, пропитавшиеся речевой стихией во всем объеме.

Но не будем уходить в эту сторону. Счеты философии и риторики столь застарелы и запутаны, что разбирать их надо специально, а Л. С. Выготский не то чтобы не имеет к этим счетам никакого отношения, но он меньше всего повинен в их запутывании. Наоборот, Выготский сразу идет к самому существу риторической проблематики. *Речь не может рассматриваться в отрыве от мысли. Мышление и речь в их педагогической организации* есть серьезнейшее прояснение предмета риторики, прояснение, являющееся результатом трудного развития этой дисциплины после ее фактической замены поэтикой во второй половине XIX — начале XX века [Зарифьян 1995] и окончательной формальной отставки при большевиках. Развитие было действительно трудным, развитие было подспудным, развитие было псевдонимным, но общая преемственность отечественной риторической традиции от К. П. Зеленецкого через А. А. Потебню и Д. Н. Овсянико-Куликовского к Л. С. Выготскому слишком

[2] Это комментарий, дописанный при переиздании статьи в сборнике 1998 года. Получается, я второй раз комментирую ее...

[3] См., например, недавно частично переизданную работу: [Зеленецкий 1991: 15]. Первое издание: [Зеленецкий 1846].

наглядна, чтобы вызывать какие-либо сомнения. Достаточно, например, прочитать книгу Выготского «Психология искусства», чтобы три последние звена этой риторической цепи стали очевидны. Преодолением же поэтического крена русской риторики и восхождением к генетически исходной точке ее развития (на новом витке, как выражаются диалектики) — К. П. Зеленецкому — является книга «Мышление и речь». Последние десять лет жизни Выготского склонили его к суровой прозе, а проза, как известно, требует мыслей. Он называл эту область — центральную область риторики — психологией, и очень для того времени хорошо, потому что традиция старой риторики не давила на него, а глубинно его направляла, и он мог развивать неканонические в общем-то идеи Зеленецкого о речевом творчестве.

К. П. Зеленецкий был, пожалуй, единственным профессионалом-риторо́м, который сумел извлечь из критики [Белинский 1958] рациональное зерно, скрытое за общепоэтической философской позицией последнего. Речевое творчество не происходит по общим местам, а если оно происходит именно по классическим общим местам, приводимым, например, в учебнике Н. Ф. Кошанского, то это не творчество вовсе, а рутина. Однако исходя из этой посылки Зеленецкий не стал отрицать риторику вообще, как поступил Белинский в своем поэтическом неистовстве, а вывел необходимость построения *новой* риторики. Осознав эту необходимость, Зеленецкий начал ее реализовывать в серии своих работ[4]. Но нигилистический пафос революционеров-демократов, с одной стороны, и профессиональная неповоротливость риторических консерваторов, с другой стороны, привели по иронии судьбы к тому, что в гимназическом курсе общей риторики, составленном в основном по Зеленецкому, именно раздел об изобретении (собственно речевом творчестве) приводился в середине 50-х годов по учебнику Кошанского [Аннушкин 1996]. В результате прозаическая часть риторики вскоре была оттеснена в дальний педагогический угол как рутина, образование культурной части общества сдвинулось в сторону мифопоэтическую (а народная культура из такой ритуально-поэтической стихии еще и не выходила) и российская история покатила в область фантастического, гротескного реализма, если воспользоваться модной сейчас при характеристике советской эпохи терминологией. Печальная закономерность.

Очередной кризис европейской речевой культуры составляет центральную часть более широкого понятийно (общекультурного) и географически (мирового) кризиса человеческой цивилизации, демонстрацию которого осуществляет XX век[5]. С точки зрения риторики этот кризис специфицируется как кризис принципов речевого изобретения. Беда в том, что, лишившись старых норм нахождения мысли, которые, допустим, стали восприниматься как нетворческие (в противовес романтической идее индивидуального творчества, изобретения между людьми, а не от Бога), человек не выработал новых норм и риторика вместе со своим именем, частично дискредитированным, частично табуированным, потеряла свою двустороннюю нормативно-процессуальную сущность. Оставшаяся спонтанно-процессуальная сторона речи (энергия) была

[4] Особенно см.: [Зеленецкий 1846]. Библиографию трудов Зеленецкого, составленную В. И. Аннушкиным, см. [Библиография 1996].

[5] Когда я говорю, что в XX веке мы отреклись от мысли, то имею в виду не только Россию. Глобальная цифровизация — отречение, пожалуй, самое катастрофическое.

механически дополнена аналитически-структурным подходом к языку как системе абстрактных противопоставлений, что естественно не могло спасти от наступившего хаоса речевую жизнь. Если воспользоваться оруэлловской терминологией, весь XX век — сплошное мыслеречепре*ступление*, еще более тягостное оттого, что не виден тот *предел*, через который собственно спонтанно переступали мысль и слово. Мета-эко-логия: все смешалось в доме!

Кризис риторики как способа речевой жизни в обществе — явление общеевропейского масштаба, но нигде этот кризис не выразился столь концентрированно, как в России. Перефразируя знаменитое высказывание Выготского, можно пошутить: то, что в Европе развертывается сукцессивно, в России осуществляется симультанно. И в шутке будет большая доля исторической правды. Но даже это симультанное становление истории в россии требовало времени, рассказ об этом становлении потребует места и специального повода[6].

Та же история, которую я рассказываю сейчас, симультанна по меньшей степени в квадрате: это история науки как живое выражение ее философии. Выготский, с ранней юности изучавший «Гамлета», ясно видел, что в гуманитарии «распалась дней связующая нить» и начал соединять эти концы оголенных проводов, по которым бежал ток наук, высвобожденных из-под этического влияния риторики, этического, потому что реальная практическая жизненная этика во многом совпадает с этикой речевой и уж во всяком случае редко может проявиться вне последней. Литературоведение, наследующее поэтике, еще сохранявшей связь с риторикой; лингвистика, оторвавшаяся от воспитательных проблем создания речи личностью; педагогика, забывшая свое происхождение из квинтилиановых риторических наставлений [Квинтилиан 1834] и занявшаяся выработкой собственных независимых теорий; история, поставлявшая ранее образцы риторической доблести и в существенной мере по этим образцам выстраивавшаяся; логика, всегда бывшая инструментом точности поиска аргументов; и, наконец, психология, интегрировавшая душу оратора в широком, конечно, смысле слова — все эти и некоторые другие более вспомогательные дисциплины внезапно оказались оторванными от своих действенных, практических корней, питающихся живыми процессами речевых взаимоотношений в человеческом обществе.

По большому счету было безразлично, какую из наук срочно снимать с якоря автономного питания, выводить из вакуума собственной замкнутости в единое гуманитарное пространство общения. Выготский начал с поэтики и родственно связанной с ней эстетики, такое начало имело ярко выраженные причины: литературный эстетизм в России был преобладающим стилем поведения образованного слоя до Великой Октябрьской Социалистической Революции (далее, если понадобится — ВОСР[7]), которая и была собственно революцией стиля, потому и ВОСР[8]! Путь же от поэтики к психологии уже достаточно глубоко наметил Потебня, который в сущности и начал разрешать общие про-

[6] Повод нашелся при очередном переиздании «Лабиринтом» этого классического труда Выготского в 1999 году. Текст этой статьи с комментариями приводится ниже.

[7] Это сокращение часто использовалось в позднее советское время.

[8] То есть антиэстетизм победил и конечно в этих условиях работы по эстетике словесного творчества Бахтина (под собственным именем) или «Психология искусства» Выготского не могли быть опубликованы.

блемы речевого творчества [Потебня 1922], поставленные в теоретическом плане еще Зеленецким.

Книга А. А. Потебни «Мысль и язык» непосредственно генетически предшествовала книге Выготского «Мышление и речь». Уже по заглавным терминам можно судить о развитии содержания риторической проблематики у обоих авторов: мысль и язык — наглядно аналитическое решение проблемы словесного творчества, разделяющее процесс мысли-познания, и языка как творческого воплощения познанного внутренней формой слова. Поэзия языка есть познание мира в назывании. Не так у Выготского. Мышление и речь, хоть и глубоко творческие, но прозаические, сложно переплетающиеся, друг друга подталкивающие, рабочие, становящиеся процессы — синтетическое решение проблемы словесного творчества.

Однако нынешнее состояние знания риторической истории заставляет меня в обязательном порядке сделать два шага назад от кризиса, с которым столкнулись Выготский и Потебня, к истокам этого кризиса и предъявить читателю.

Герменевтический круг риторики

Риторика и как наука, и как искусство действия словом (древние объединяли эти ипостаси термином ρητορική τέχνη, в современных представлениях нужно, наверно, было бы говорить о риторической технологии), сколько она себя помнит, состоит из «5 частей: нахождение материала (inventio), расположение материала (dispositio), словесное выражение (ornatio), запоминание (memoria) и произнесение (actio)» [Гаспаров 1972: 18]. Части эти, впрочем, неравнозначны. memoria на то и memoria, чтобы быть факультативной по отношению к осознанию, а actio вовсе не обязательно *произнесение*, не говоря о том, что такой, традиционный, перевод наглядно расходится с сутью античного термина, передает совсем другой его аспект. Устная речь уже в Древней Греции была не единственной формой ведения дел. Классическая риторика так же неотделима от письменности (вспомним, какое значение придавал письменной речи Выготский), как новая риторика неотделима от печатного станка, как новейшая — от средств массовой коммуникации и вычислительной техники.

В целом inventio, dispositio, ornatio (я предпочитаю переводить их в терминах русской риторической традиции *изобретение, расположение, выражение*) есть предварительное создание речи, точнее, предсоздание ее (мыслительная задержка, по Выготскому), то, что в фольклорной риторике называется *сначала подумай, потом скажи*. «Интерпретация центральной схемы риторики, четко структурированной тремя основными разделами — Инвенцией, Диспозицией и Элокуцией, — я цитирую диссертацию Н. А. Безменовой по истории французской риторики, но вывод имеет отношение не только к Франции, — позволяет увидеть в риторике теорию речевой деятельности и описать ее как некоторый идеоречевой цикл, очерчивающий путь от мысли к слову» [Безменова 1985: 20]. Как уже признано, современную теорию речевой деятельности, или психолингвистику первым начал строить Л. С. Выготский, но это между прочим, речь сейчас идет о том, что риторика имеет структурный инвариант, изобретение–расположение–выражение, веками поддерживающий ее хребет, и все развитие риторики заключается в трактовке этого алгоритма — теоретической и практической.

Центральным, определяющим звеном в этой неразрывной схеме звеньев идеоречевого цикла является изобретение. Аристотель пишет, что дело риторики — «не убеждать, но в каждом данном случае *находить* (курсив мой — *И. П.*) способы убеждения» (Риторика 1355b, 10–11) [Античные риторики: 18]. Подходы к изобретению, по Аристотелю, бывают *нетехнические* (пытки, клятвы, законы, договоры, свидетели) и такие, что прямо относятся к риторической *технике*. Эти, технические способы убеждения, по Аристотелю, Дж. Кинневи укладывает в следующую схему [Kinneavy 1987: 49] (рис. 1):

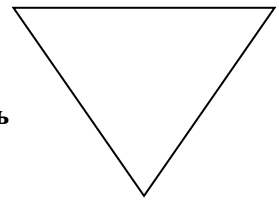

Рис. 1

Продолжим, однако, описание изобретения по Аристотелю Н. А. Безменовой: «Инвенция предполагает субкатегоризацию темы, обусловленную выбором определенной аргументативной стратегии. Используя некоторую селекционную «решетку» данных («общие места»), ритор осуществляет таким образом отбор элементов, необходимых и достаточных для существа объекта и его дальнейшей вербализации. Эта селекция должна находиться в прямой зависимости от дискурсивной ситуации, характеризующейся тремя типами параметров, связанных: 1) с отправителем сообщения (нравы); 2) с получателем сообщения (страсти); 3) с темой сообщения (аргументы)» [Безменова 1985: 8]. Первые два типа параметров существенно зависят от деления всех речей на роды[9]. «Третий тип параметров выявляет источники («общие места»), раскрывающие тему (аргументы). Категории, известные в риторике под названием «общие места», представляют собой субконцепты, составляющие в наборе целую тему. Таким образом, в результате Инвенции в распоряжении оратора оказывается «обработанная» (естественно, в результате «мысленного эксперимента») тема, представленная необходимым в данной дискурсивной ситуации набором субконцептов. Инвенция есть этап «упорядочения» мысли, открывающий идеоречевой цикл» [Безменова 1985: 9].

Это, современное, описание классического способа изобретения очень показательно. По логике идеоречевого цикла «от мысли к слову» изобретение есть именно и прежде всего этап мысли. Но что же такое тогда для античности мысль как ни раскладывание случая (казуса) по полочкам различных категорий (или, может быть, одновременное порождение этих категорий, причинно-следственных, нормативно-правовых, этических [Фрейденберг 1978])? Для риторического в узком смысле слова этапа человеческой культуры[10] отнесение к роду,

[9] Подробнее о типологии речей см. [Пешков 1998а] (раздел 1 и 2 этой книги).

[10] См. [Аверинцев 1981а; Аверинцев 1981б; Пешков 1925].

категоризация по общим местам и есть мысль. Посредством логических по сути операций человек *находил* мысли, затем эти мысли *располагал* в некотором порядке и *выражал* или *украшал* словами. При этом мысль (логос) была словом с самого начала, но словом менее или более логически развернутым и украшенным. Задача риторики во многом и заключалась в научении этому логическому развороту и украшению (но не изобретению-рождению) логоса. Н. А. Безменова чувствует, конечно, разницу между их и нашим пониманием изобретения. Для нас то, что описано как инвенция, не есть собственно изобретение и эта, наша точка зрения прорывается в конце выше цитированного отрывка: «Инвенция есть этап «упорядочения» мысли» — особенно показательно слово в кавычках, знаменующих наше отношение к мыслительному процессу древних, для которых изобретать, мыслить и упорядочивать — одно и то же.

В целом теория изобретения Аристотеля есть логизирование мифа. Образ мифа был уже дан говорящему, оставалось только положить его на нужную категориальную полочку как средство убеждения. Мифология использовалась как резервуар возможностей, являющихся одновременно и средством, и целью изобретения (топика). При переходе от демократически устной античности, включающей в себя в существенной степени и республиканский Рим, к имперски дипломатическому управлению с его литературно-письменным стилем [Аверинцев 1977; Ковельман 1988] топосы стали постепенно отходить на задний план (или, вернее, стали создавать самую возможность заднего плана речи, просачиваясь в коллективное memoria), а с другой стороны, всплывали в учении о стиле (ornatio), смешиваясь с фигурами мысли и тропами. Эта возгонка топики в стиль все усиливалась и в поздней античности украшение стало самодавлеющим в речи: реальное изобретение растворилось в украшении, которое было уже резервуаром с омертвевшими мифическими схемами, тропически обнажившимися до фигур мысли и слова.

Налицо был первый кризис *риторики познания* (а именно так можно определить риторику, запущенную в теоретический оборот Аристотелем), явившийся следствием отделения образа от понятия, что было связано с процессами окончательного разложения классической мифологии.

Такой оголенной логики массовое сознание античности (и театральные греки, и цирковые римляне) воспринять не могло, понятие нуждалось хоть в механическом, зачастую просто внешнем украшении (это уже внешнее объединение разделившегося образа и понятия зафиксировано в знаменитом девизе «Хлеба и зрелищ!», конъюнктивно разделяющем некогда тотемно-мифическое единство). Как альтернатива такому новому, искусственно-театральному язычеству возникло христианство.

На этом месте (возникновение мировой религии) необходимо сделать некоторое методологическое отступление, чтобы признать необычайную опасность глобальных культурно-исторических обобщений, сделанных мимоходом на малом текстовом пространстве, однако такой пунктир абсолютно необходим: без истории риторики теория риторики просто немыслима, а в случае Выготского еще даже и не идентифицируема.

Христианство заполнило очищенную от древнего мифа понятийную топику новой внутренней формой этического человека-мифа и, стараясь уходить от стилистических украшений, перенесло постепенно источники изобретения

в раздел расположения, вытесняя общую композицию разнообразием логических связок. Христианская догматика породила схоластику и силлогистику, т.е. в конечном счете формальную логику, которой не было в такой отвлеченности в античности. Топика, следовательно, стала присутствовать уже в фигурах силлогизмов [Волков, Хабаров 1984: 205]. Возник второй кризис топического изобретения, связанный с отрывом понятия от образа.

На протяжении веков христианской эры кризис изобретения по общим местам планомерно (если так можно сказать о явлении, которое неизвестно кто планирует) раскачивал традиционную структуру риторики. Троп как бы бессознательно стремился (если так можно сказать о событии, которое неизвестно *кто* осознает) стать смыслом изобретения, а общие места — смыслом расположения. Внешне это выглядит как экспансия общих мест то в ornatio, то в dispositio (рис. 2).

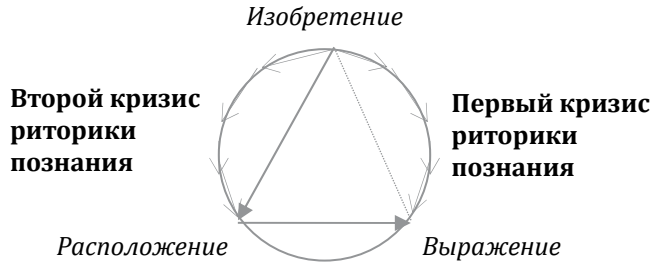

Рис. 2

В данном классическом герменевтическом круге стрелками треугольника показано движение создания текста в дидактической синхронии структуры риторики по этапам изобретение-расположение-выражение и далее уже весь круг катится (через memoria, если момент задержки воплощения существенно растянут) в actio, начинается непосредственное действие словом. Стрелками на окружности отображается диахронический аспект структуры риторики, историческое движение содержания главного риторического этапа (изобретения) то в расположение, то в выражение.

Итак, разнонаправленные движения по герменевтическому кругу постепенно расшатывают содержание классической структуры риторики. То есть новое содержание изобретения готовится еще внутри риторики познания главным образом путем высвобождения смыслового места. Например, Цицерон отнюдь не случайно ополчился на свой юношеский трактат «Об изобретении» [Цицерон 1994: 52–55], а заодно и на всю школьную риторику его времени [Цицерон 1972] и сосредоточился на проблемах стиля, казалось бы, периферийных. Можно предположить, что принципы изобретения по логике общих мест к какому-то моменту развития общества (римского, раз мы говорим о Цицероне) или к какому-то уровню развития конкретного человека бывали твердо и глубоко усвоенными и возведение ситуации к общим категориальным источникам уже не составляло предмета живой мысли, хотя и оставалось основой создания речей в целом. Индивидуальная мысль больше проявлялась в особенностях украшения известных топосов, фигуры стиля при этом все больше подчинялись личному вкусу говорящего [Фрейберг 1975].

Таким образом, с одной стороны, в риторической практике наблюдается сдвиг интереса от изобретения к выражению, понятому как индивидуальное украшение речи, сюда передвигается творческий момент риторики, которую, начиная с Возрождения и особенно в Новое время уже прямо называют элоквенцией, красноречием, то есть доминирует раздел ornatio как искусство украшенной речи. Следовательно, с другой стороны, и в практике написания трактатов по риторике доминирует та же тенденция: «в большинстве риторик фигуры речи рассматриваются в разделе “стиль”, а не в “изобретении” или “расположении”. Но обращают на себя внимание два обстоятельства. Во-первых, в традиционных риториках не проводится последовательного различия между сравнением как топосом и сравнением-фигурой, противоположением-топосом и фигурой антитезой, энумерацией-топосом и фигурой разделения, определением-топосом и фигурой. Во-вторых, во многих традиционных риториках выделяются так называемые фигуры мысли, имеющие значение в аргументации» [Волков 1986: 54].

Наиболее очевидно все-таки сближение *выражения* и *изобретения*. Первое зачастую просто выполняет функцию второго. Эта тенденция дошла в теоретическом по крайней мере плане и до современной риторики. Так «Общая риторика» группы μ [Дюбуа 1986] анализирует почти исключительно тропы и фигуры, видимо, считая их основой речесозидающей мысли. А впервые методически оформилась доктрина, связанная фактически с отсечением от риторики разделов изобретения и расположения, у Петера Рамуса [Радченко 1984]. Россия в XIX веке повторила это общеевропейское движение от изобретения к выражению в форме скукоживания общей риторики и риторики деловой прозы до поэтики и стилистики. В Риме все кончилось христианством и крахом империи, во Франции — Великой Французской революцией, в России и вовсе — ВОСР!

Россия как единая территория, как пространство единения фактически стала тропом для изгнанного из теории общего места. Знаменитое «единство общения и обобщения» Выготского (а любое готовое понятие — частный случай общего места, иначе оно не было бы понятно) вполне применимо к такому понятию как «Россия». (В книге «Фрейдизм» есть даже симптоматичное словосочетание «обобществление себя»[11].) Поэтическое восприятие общих мест с их последующей мифической субстанциализацией, конечно, совершенно особая тема, однако отнюдь не случайная в связи с Выготским: фактически большая часть книги «Мышление и речь» (гл. 2–6) посвящена допонятийному, мифическому способу мышления и в отношении истории риторической науки это уже совсем не случайно. Желая преодолеть общий кризис риторики логического познания, эксплицированный им как кризис интеллектуалистической теории мышления и продемонстрированный на примере В. Штерна (гл. 3), Выготский сосредоточивается на анализе генезиса, становления понятия, на происхождении логики обобщения и, следовательно, вольно или невольно формулирует принципы мифического мышления, которое в количественном отношении оказывается доминирующим в человеческой жизни.

[11] Трудно представить, чтобы Выготский не знал бахтинских книг В. Н. Волошинова. Отсутствие ссылок можно объяснить тем, что он знал также, кто является их автором. О попытке риторического решения проблемы «спорных» текстов Бахтина см. [Пешков 1998б]. Вообще социализация, обобщение и обобществление удивительным образом связывались в 20–30-е годы.

Логико-понятийное мышление и соответствующая речь требуют специального воспитания, риторика познания общего места требует учебы (единство обучения и развития, по Выготскому), естественным путем к понятию не придешь — эта неизбывная педагогическая составляющая наглядно сближает психологию Выготского с риторической традицией. Но не менее наглядно сближает его с этой традицией семиотический подход[12], однако вовсе не в смысле структурализма (вспомним его замечание о сумерках всеобщей структурности [Библер 1996: 304]), а в смысле применения знака как интеллектуального орудия — тезис, под которым подписалась бы любая школа риторики. Поэтому вернемся к А. А. Потебне и рассмотрим

Изобретение как семиозис (сдвиг риторической структуры)

Как видно из всего вышеизложенного, теоретическое разрешение кризиса изобретения — процесс непростой и длительный. Но этот процесс еще и неоднонаправленный во времени. Так, то, что пыталась сделать группа μ в 1970 году [Groupe μ 1970], фактически осуществил Александр Александрович Потебня (не просто «харьковский отшельник», как его часто называют, но наследник харьковской риторической школы [Рижский 1805]) почти на сто лет раньше. Попробуем разглядеть суть потебнианской революции творчества.

Потебня как бы придал вращательный момент алгоритмическому (герменевтическому) кругу структуры риторики. Он определил точку творческого приложения в другом месте этой структуры и тем самым окончательно передвинул тропический смысл украшения в изобретение, где метафорический механизм стал техническим моментом.

Открытие Потебни было именно теоретическим открытием того, что давно уже существовало на практике и просачивалось в риторические руководства, хотя вообще проблема украшенной речи, проблема украшения как остранения, осознания, саморефлекса речи обычно разрешается в русских риторических трактатах несколько внешним образом, но интересен в этом отношении следующий абзац:

> «Хотя, по-видимому, устроение фигур и тропов есть искусственное, однако они не искусству обязаны своим началом. Их происхождение заключено во врожденном уме человеческого стремлении живописать предметы, подверженные чувствам и сверх того в недостатке слов, который по необходимости должен был встретиться в первобытных языках. Большая часть фигур и тропов равно принадлежат всем народам и всем векам. Мы уже прежде намекнули о их пользе, они обращают внимание читателя на важнейшие обстоятельства предметов; они самым отвлеченным понятиям доставляют некоторую степень чувственности, делают их приятнее и занимательнее, оживляют вещи неодушевленные, и самым одушевленным всегда придают более жизни и прелести» [Мерзляков 1817: 36–37].

Автор понимает, что фигуры и тропы — это нечто большее, чем просто украшение речи, или, что само украшение не есть нечто внешнее по отношению к речи: это нечто присуще человеку от его видового рождения, как и сама

[12] Наиболее подробно и настойчиво трактует Выготского как одного из зачинателей семиотической науки Вяч. Вс. Иванов. См. [Иванов 1976: 28–36].

речь — тропы нужны из-за недостатка слов! В целом это могло бы быть одной из интуитивных предпосылок теории Потебни: дать «некоторую степень чувственности» отвлеченным понятиям равнозначно прояснению внутренней формы слова, остается лишь сделать обратный ход, т.е. от чувственности перейти к понятию. Такое теоретико-риторическое возведение к А.Ф. Мерзлякову кажется тем более неожиданным, что именно после трудов харьковского ученого традиция русской теории словесности, состоящая в равноправном изучении поэзии и прозы, была нарушена, предпочтение стало отдаваться художественной литературе [Рождественский 1979: 97–99].

А между тем, post hoc non est propter hoc: из теории Потебни совсем не следует, что лучше оставить прозу и изучать поэзию (хотя последующие интерпретаторы трудов Потебни сделали именно такой вывод [Овсянико-Куликовский 1923]), напротив, по Потебне, нужно любую речь изучать с точки зрения ее творческой поэтичности. Таким образом Потебня трактует теорию словесности как общую риторику. Это как раз случай «анонимного» существования риторики В.В. Виноградов [Виноградов 1930] (существования отнюдь не «жалкого», но несколько эфемерного).

Познание, по Потебне, это уже не упорядочивание по общим местам, а процесс познавания, он обнаружил семиотический инвариант этого процесса рождения мысли и тем самым еще внутри риторики познания показал путь разрешения кризиса изобретения, открыл возможность осуществления давно наметившегося в риторике сдвига ее структуры.

Соответственно, изобретение, по Потебне, есть *процесс* познания неизвестного, изоморфный процессу его поименования. Изобрести значит найти новое слово (слово с новой внутренней формой). Внутренняя форма как раз и должна каким-то способом указывать на это *новое*, познанное качество предмета исследования. Нахождение способа указания — уже не формально-логическая операция подведения под родовой признак. Логическое объяснение возможно лишь *после* изобретения.

Почему и как внутренняя форма связывет новое понятие со старым — вопрос расположения, в ведение которого теперь *сдвигается* теория общих мест и аргументации (формально-логическая основа речи). Новое расположение найденного по общим местам, понятным аудитории, вполне соответствует названию старого раздела dispositio. Это именно диспозиция, подготовка к речевой битве, создающая запас тезисных путей и логических переходов от изобретенного (условно — логоса) к понятиям, которыми предположительно должен владеть будущий партнер по речевому общению.

Старая диспозиция закономерно превращается в композицию (целостно-эстетическое завершение текста) и *сдвигается* на место, освобожденное от ornatio. Композиция становится как бы внутренним украшением текста, в отличие от тех тропов и фигур, которые внешне украшали готовый в логическом отношении текст. На новом этапе композиционного *выражения* текст превращается в единое произведение, действие которого, по Потебне, функционально подобно действию слова. Семиотически вооружившись таким произведением, можно смело начинать actio (воплощение, действие словом, отсюда предмет риторики — homo verbo agens).

И, наконец, повторим, циклично завершая описание содержательного сдвига риторической структуры на фазу, что бывшее ornatio становится внутренней семиотической техникой изобретения (мысль как перенос значения). Схема сдвига проста (рис. 3):

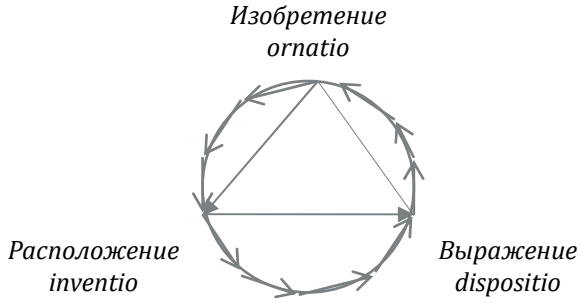

Рис. 3

Ясно, что по-латыни написанные термины являются не подстрочным переводом с русского вышележащих слов, а их новым содержанием, внутренней формой обновленных этапов риторической структуры подготовки речи, результатом смыслового сдвига по герменевтическому кругу.

Однако одного структурного сдвига для создания действительно новой риторики мало. Необходимо наполнение самого круга принципиально новым содержанием. Возможность такого наполнения подготовлена работами М.М. Бахтина, его идеей о равноправии и взаимограничности всех сфер человеческой культуры [Бахтин 1975: 25] (этика, познание, эстетика), а также идеей типологии ситуаций кризисного речевого общения, восходящей к родовому делению ораторских речей у Аристотеля (1358a37–1359a29) [Античные риторики 1978: 24–26]. Михаил Михайлович Бахтин, по моей гипотезе [Пешков 1996], предрешил теоретическое обоснование принципиально новой риторики, но это особый разговор, имеющий не столь прямое отношение к Выготскому, как семиотика Потебни, к углублению в которую мы сейчас и переходим.

В девятой лекции по теории словесности Потебня подводит итоги своего анализа:

> «Всякое поэтическое произведение есть не исключительно, но главным образом акт познания, притом акт, предшествующий познанию прозаическому, научному... Отдельные моменты этого акта следующие: во-первых, мы должны иметь известный запас знаний, которым мы объясняем. Этот запас мы назвали *A*. Во-вторых, мы имеем перед собой познаваемое, то, что составляет в данном случае вопрос. Это — *x*. В-третьих, мы сравниваем этот *x* с *A* и находим, что между ними есть нечто сходное, общее, которое обозначили через *a* на том основании, что оно берется из прежде познанного (*A*)» [Потебня 1894: 125; 135].

Собственно говоря, этот вопрос (*x*), это нечто, навеваемое ему одновременно всем известным запасом знаний (*A*) и познаваемым (*x*) и есть мысль (*x*). Совпадение в номинации вполне понятно: познаваемое существует для нас в изобретении именно в виде мысли о нем.

Окружности кончились. Начались треугольники (рис. 4).

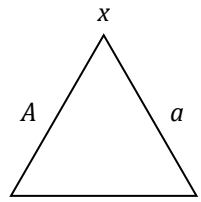

Рис. 4. Треугольник А. А. Потебни
(гипотетический)

В семиотической литературе сложилась традиция графического изображения знаковой ситуации. Я и воспользовался этой традицией для представления гипотетического (но, по-моему, вполне очевидного) треугольника А. А. Потебни. Впрочем, мода на семантические треугольники началась значительно позже Потебни, с книги Огдена и Ричардса «Значение значения» [Ogden, Richards 1923], после которой трудно стало найти работу по семантике без треугольной интерпретации семиозиса. Выготский сделал такую интерпретацию вне всякой моды, в 1930 (рис. 5).

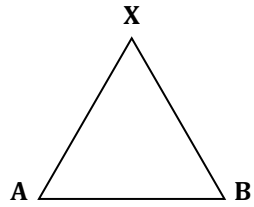

Рис. 5. Треугольник Л. С. Выготского

Приводим пояснения автора к рисунку:

> «... Условно изображены два пункта **A** и **B**, между которыми должна быть установлена связь. Но своеобразие опыта заключается в том, что этой связи сейчас нет, и мы исследуем характер ее образования. Стимул **A** вызывает реакцию, которая заключается в нахождении или отыскании стимула **x**, который в свою очередь воздействует на пункт **B**. Связь, таким образом, между пунктами **A** и **B** устанавливается не непосредственная, а опосредствованная. В этом и заключается главное своеобразие реакции выбора и всякой высшей формы поведения. <...>
>
> Мы нашли в нашем случае, что одна ассоциативная связь заменяется двумя другими. Каждая из этих связей, взятая порознь, является таким же условно-рефлекторным процессом замыкания связи в коре головного мозга, как и прямая ассоциативная связь. Новым является факт замещения одной связи двумя другими, новой является конструкция или комбинация нервных связей, новым является направление определенного процесса замыкания связи при помощи знака, новыми являются не элементы, но структура всего процесса реакции» [Выготский 1983: 111–112].

Таким образом, двучленная схема естественного, психического процесса *стимул — реакция* (**S → R**) превращается в трехчленную схему культурного, психологического поведения *стимул — знак — реакция* (**S → x → R**). Из этого гениального в своей простоте бермудского треугольника изобретения фактически вырастает вся работа «Мышление и речь». Речь трактуется, с одной стороны, как стимул для мысли, а с другой стороны, как реакция самой мысли. Но и стимул, и реакция (**S**, **R**) — это не только речь, а **x** тоже понимается широко: от

просто случайного действия, лишь объективно имеющего знаковый характер (например, дейксис младенца) до сложной эвристической ментальной задержки (например, открытие ученого). Для того, чтобы различить эти вещи, имеет смысл соотнести условный треугольник Потебни с реальным условно-рефлекторным (по крайней мере, генетически) треугольником Выготского.

Выготский делает акцент на происхождении внутреннего знака из внешнего, а Потебня в основном рассматривает сам внутренний процесс. Треугольник Выготского имеет тенденцию к расширению трактовки до всех видов специфически человеческой деятельности, а треугольник Потебни имеет тенденцию к сужению до сугубо знаковой, словесной деятельности человека и даже только до риторического изобретения в этой деятельности. Если рассмотреть эти тенденции в их предельной реализации, то треугольник Потебни будет как бы встраиваться в треугольник Выготского, где **x** сам по себе будет расшифровываться как вербально-ментальный треугольник: вся предыдущая словесная деятельность *A* (все тексты, сказанные и услышанные) является основой для создания нового слова *a*, которое одновременно является и следствием умственной работы по созданию внутренней формы *x*, и средством-знаком для нового совершения такой работы. Слово понятно, когда оно сходным образом пробуждает мысль у воспринимающего [Потебня 1894: 132]. Проиллюстрируем (рис. 6).

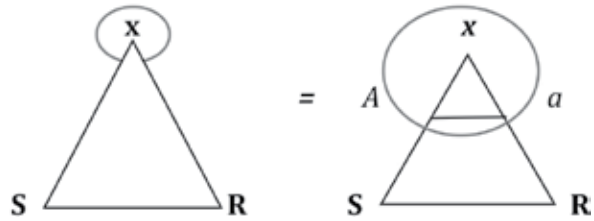

Рис. 6. Врастание треугольника Потебни в треугольник Выготского

Перед нами наиболее абстрактная схема процесса риторического изобретения. **S** — биосоциальный стимул всего процесса, причем, чем дальше по пути эволюции продвинулся человек (в фило- или в онтогенезе), тем этот стимул менее био-, а более социальный (во всяком случае, если считать осознанную заботу о потомстве социальным моментом). Поскольку природа изобретения есть кризис, а суть человеческой жизни, как это отчетливо видно по доминантному термину «Мышления и речи», — общение, к изобретению человека стимулирует *кризис ритуала* [Пешков 1989: 14–37] речевого общения. Кризис стимулирует, кризис (κρίσις — разрешение, рассмотрение, суд, по-древнегречески) и дает средства для разрешения проблемы. Такие средства — то из ведущегося перманентного общения, что накопилось, по Потебне, в виде «запаса знаний», своеобразного тезауруса *A*, который вскрывает обострившаяся, стимулирующая ситуация. Поэтому нужно ставить не просто линию, а динамическую стрелку: **S** → *A*. Фактически это начало раскрутки внутренней речи, которая, чем быстрее раскручивается, тем вернее «испаряется в мысль», по образному определению Л. С. Выготского: *A* → ***x***. Это как раз то место, где «нам не дано предугадать...» и благодатное сочувствие нам дается в виде значения, внутренней формы нового слова: ***x*** → *a*. Это слово мы можем выкрикнуть, написать, выбить на камне или затаить в себе: *a* → **R**.

Но эту все еще слишком общую схему даже в ее статическом положении можно дополнить треугольником Аристотеля, перевернутым с логосической головы общих мест на ноги этоса говорения и пафоса восприятия (рис. 7):

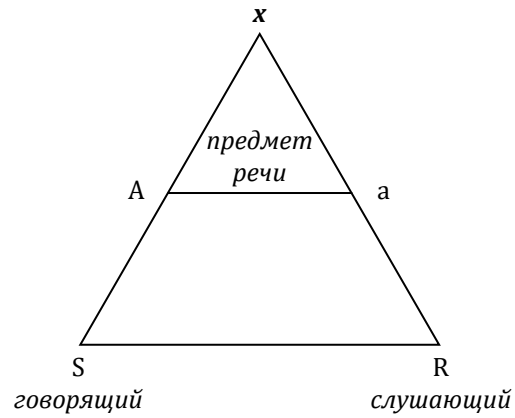

Рис. 7

Итак, знаменитые *этос, логос* и *пафос* вполне укладываются в семиотический треугольник Потебни-Выготского. Этос, стремление говорящего сохранить лицо в общении, требует речевых усилий, ибо, по Аристотелю, позорно не помочь себе словом (1355b1). Эти усилия порождают логос, предмет речи, который и выражается с пафосом перед слушающим. Отношение к самому себе как *человеку для других* в социуме (этос), затем отношение к предмету речи как доступному *понятиям других* (логика) и, наконец, отношение к *другому* во всей его конкретно-ситуативной эмоциональности (пафос) — не то ли же это самое как единство общения и обобщения, единство интеллекта и аффекта у Выготского?

В связи с предложенной схемой удобно проанализировать критику Л. С. Выготского В. С. Библером в философском комментарии к его книге. Библер ставит Выготского снова в парадигму поэтики-философии и выводит из плоскости риторики, хотя во всем остальном, что касается собственно изобретения, анализ Библера, по-моему, безупречен:

«Мысль, существующая (рождающаяся...) в “контексте внутренней речи” уже есть (если додумать ситуацию, описанную Л. С. Выготским) сама по себе, — мотив к мысли, воля к мысли» [Библер 1996: 376], — Библер прав, но его правда относится к верхнему треугольнику схематической пирамиды. Когда механизм изобретения запущен, он некоторое время может работать на внутреннем речево-мыслительном топливе, особенно долго в сферах философии и поэзии, на которых Библер специально останавливается. Прозаические, обычные люди не крутят внутреннюю речь и восьми рабочих часов в сутки, для речевого изобретения им нужен *внешний* мотив. Риторика — это действие словом, отнюдь не только внутреннее. И вряд ли для Выготского вся «мотивационная сфера сознания» — только «буква», нет, «мыслит не мышление, мыслит человек» [Выготский 1986: 57], — не без пафоса замечает он.

Как Библер доуглубил Выготского во внутреннем отношении, так его нужно дорасширить во внешнем отношении, потому что Выготский-психолог был аскет детерминистически построенной мысли, заточивший сам себя в экспери-

ментаторскую келью[13]. Расширение Выготского до общериторической культуры представляется мне чрезвычайно плодотворным и естественным движением заложенных им смыслов и в этой связи поле деятельности для современных теоретиков риторики — необъятно.

Библер нашел болевую точку (или, скорее всего, точку роста) подхода Выготского. Чистая предикативность. Мы знаем, о чем мы думаем [Выготский 1996: 343]. Нет нужды называть субъект мысли, то есть в конечном, русском счете — предмет речи, под-лежащее. Тут Выготский как бы идет на поводу у старой риторики, которая всегда учила изобретать на тему. Тема есть. Ищи рему. Предмет дан, подбирай предикаты. Как доказать, что во внутренней речи именно предикаты? Выготский использует понятия психологического подлежащего и такого же сказуемого, нынешние тема и рема. И все. То, что слышно исследователю в эгоцентрической речи — рема, психологическое сказуемое по определению, значит, внутренняя речь предикативна.

Так построена вся риторика познания: *дана* тема, изобретай по общим местам, располагай по восьми частям речи и украшай тропами! Если тема существует заранее, то мотив для ее изобретения не нужен.

Или чистая предикативность, или мотив общения, то есть выход во-вне. Библер прав — здесь парадокс. И у классической риторики, и у Выготского *мысль происходит в слове*, но та риторика под мыслью понимает движение готовых понятий, их развертывание в силлогизмах, свертывание в энтимемах, расположение в плане, выражение в периоде, Выготский же рассматривает процесс генетического *зарождения* понятий (что близко к термину Зеленецкого «произрождение мыслей»[14]), то есть он в большинстве случаев показывает не само изобретение, а генетический путь к изобретению понятий. Риторика и не должна учить изобретать, риторика должна подготовить в человеке возможности речевого изобретения.

Мы перебираем в уме предикаты не потому, что знаем предмет нашей речи; предикат, рема — это не *новое* еще, а *острое* следствие общения, которое нас ранит; наша мысль андрогинно предикативна во внутренней речи, потому что мы не знаем еще ее другой, предметно-тематической половины, которую мы и ищем в изобретении, не найдя которую *ничего* нельзя сказать, ибо тогда это было бы суждением ни о чем, явное contradictio in adjecto.

Фактически Выготский очень корректно подходит к процессу изобретения. *Мы знаем, о чем мы думаем* на деле означает модальность *мы должны узнать, о чем мы будем говорить*, это задание нашей внутренней речи, которая сначала испаряется в мысль, а затем снова конденсируется во внутреннее слово и возникающий момент ощущения, что *мы знаем, о чем*..., свидетельствует, что предмет речи, видимо, найден, остается подбирать предикативы, уточняя понятие.

Итак, Выготский отлично понимает, что учить изобретать мысль нельзя, как нельзя инструментально зафиксировать этот процесс, и он сначала долго генетически подходит к мысли (гл. 1–6), а в седьмой главе в основном анализирует результаты уже совершенного изобретения. Книга Выготского фиксирует не статический момент изобретения, а рассматривает систему *подходов* к нему

[13] Однако не забудем, что в эту строго экспериментально-научную келью Выготский поместил себя уже после широкого общетеоретического охвата мира в «Психологии искусства».

[14] Подробнее см. [Барановская 1991].

и логику *перехода* от изобретения к расположению в значениях-понятиях. Для того и нужна эта синтетическая единица анализа внутренней речи (значение) как единица, способная к линейному развертыванию в цепи себе подобных единиц. Плодотворная идея сочетания симультанности и сукцессивности может быть проиллюстрирована цепью треугольников (рис. 8):

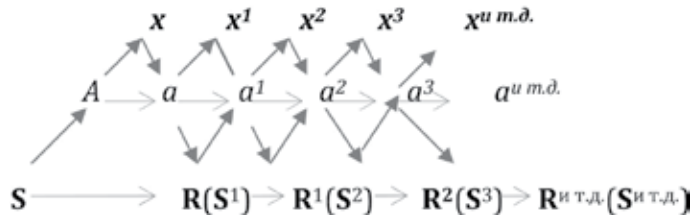

Рис. 8

Перед нами схематический механизм спонтанного (если брать только одну такую цепь) развертывания-порождения текста. Сторона S → *A(a)* → *x* демонстрирует попытку запускания квантовой реакции мысли, воспарение социального дела, кризиса ритуала (S) через внутреннее слово (*A*) в мысль (*x*). Это сторона *изобретения*, результатом которого является конденсация мысли *x* во внутреннем слове или форме слова $a(a^n)$ и внешней, возможно словесной реакции R. В целом S → *a* → R — сторона *выражения*. Пронизывающая же обе стороны треугольников-звеньев и соединяющая их в логическую цепь прямая $a \rightarrow a^n$ есть прямая *расположения*.

Стартовый треугольник S*a*R — это условный треугольник открытия самого предмета речи, а вся дальнейшая цепь треугольников — логико-речевое прояснение его (расшифровки смысла в значениях, по Выготскому), происходящее через классические общие места. Прямая $R \rightarrow R^n$ есть в целом прямая *выражения*, развертывания внешнего текста, фиксация его во вторичных знаках (письмо, электроника) или устное спонтанное порождение.

Данная схема ограничена одним, разовым актом изобретения. Кризис ритуала провоцирует внутренний монолог (А), инициирующий порождение речи, которое в единственной цепи происходит как бы само собой (при наличии навыков говорения или письма, т.е. при владении уровнем нормы). Риторическая техника предполагает создание более чем одной цепи, их логическое структурирование и эстетическое объединение.

Однако главным гарантом единства речи является исходный импульс кризиса, отклонения в ритуале общения, социальный стимул. Мысль как мысль-уже, может быть, ни в каком стимулирующем мотиве и не нуждается, но еще-не-мысль (а замысел, замышление) нуждается если не в мотиве, то в поводе, нужно за что-то зацепиться в общении, в мире, зацепиться эмоцией, дающей заряд мысли. Мы не знаем, о чем мы мыслим во внутренней речи, но мы догадываемся об этом, надеемся на это, провоцируем это знание подстановкой предикатов. Не известный предмет (subject), а эмоциональный субъект внутренней речи (равный, по Библеру, самой этой внутренней речи) есть искомое единство интеллекта и аффекта. «Аффект вызывается обычно резким, неожиданным раздражением, к которому организм не может приспособиться» [Вар-

шава, Выготский 1931][15]. В риторической терминологии — это кризис ритуала, нарушение мерного течения человеческого общения. Кризис вызывает эмоциональный всплеск («резкие и бурные взрывы отчаяния, страха, гнева, ликования и т.п.» [Леонтьев 1990: 144]), провоцирующий мысль.

Поиск выхода из неожиданной ситуации запускает механизм изобретения, внутренний диалог уже- или еще-знания о предмете и еще-незнания о нем, незнания его. Мы знаем о нем по следам его в ситуации, но не знаем Его, его имени, которое нужно или вспомнить, или изобрести заново в зависимости от типа речи, но в любом случае наполнить новым, актуальным смыслом, *влить* новое значение. Изобретение как осмысление речи и о(т)речение мысли.

Свою риторическую историософию я продолжил через три года [Пешков 1999]:

Наша серия начиналась с «Мышления и речи», наша серия продолжает заниматься мышлением и речью, наша серия не так стара, чтобы заканчивать «Мышлением и речью». Нет, это еще не конец, это — становление того, что начал Л. С. Выготский, начал, раскритиковав всю имеющуюся вокруг психологию. Оказалось, что психология-то как раз и не в силах ухватить сочетание этих важнейших гуманитарных составляющих именно в их живом составлении, в их взаимоочеловечевании... Психология, как, впрочем, и философия, разлагает душу на элементы. Что там в душе? Огонь? Вода? Воздух? Чувство? Воля? Мысль? Слово? Какая душа — потемки! Где он — вход в душу? До Выготского лишь гадали, что там, не всегда даже пытаясь разобраться, а где собственно. Душа — как невеста без места. И вроде не столь оно отдаленное, но уж очень неопределенное. А как возьмешься определять — беда: все подходит, а все — не то!

И только Лев Семенович Выготский показал, что душа — это не то, что **где**, что душа — это **куда**. В душе, да. В душе — места. Общие и частные, традиционной риторике давным-давно известные и Виссарионом Белинским неистово критикованные. Но сама душа не есть место. Туда можно войти, если быть мудрым (философом, например), но там нельзя поселиться. К душе нельзя подобрать ключей, потому что она не имеет замка, и ее нельзя расшифровать, потому что она не закодирована...

Выготский не разлагает, не расшифровывает, не лезет в душу. Он просто смотрит, как она оживает. Эксперименты Выготского — способ видеть то, что можно видеть. Все остальное — мастерство наблюдения, проявив которое Выготский сформулировал то, чем всегда занималась риторика — объединением общения и обобщения. Риторика прежде всего заготавливала обобщения, которыми можно было бы воспользоваться в процессе общения, предоставляла

[15] Цит. по [Леонтьев 1990: 144]. Надо заметить, что Леонтьев несколько подредактировал Выготского, в его словаре читаем: **АФФЕКТ** — бурная, сильная, относительно кратковременная эмоция, сопровождающаяся резкими изменениями в органической жизни и двигательном аппарате (гнев, ужас). А. возникает вследствие внезапного ущемления какой-либо потребности личности или невозможности найти целесообразный выход из критического положения. Изменяя обычное течение представлений, А. суживает поле сознания, фиксируя его на ограниченном круге образов, связанных с вызвавшим его событием. Протекая бурно, А. оставляет после себя скрытые следы в психике (аффективные комплексы), обнаруживающиеся при заторможенном и скрытом состоянии самого А». Как видим, мысль о кризисе сформулирована здесь еще более четко.)

со времен Аристотеля места, общие для разных душ, и когда эти места в речи располагались удачно, общение было успешным. Выготский рассматривает, как эти места формируются вместе с развитием человека (или — точнее — как эти места формируют самое развитие человека), как выращивается обобщение.

Единство интеллекта и аффекта, чем кончает Выготский свою книгу, — вещь, конечно, важная, без этого нет толчка к речи, нужен кризис, чтобы начать говорить осмысленно, но это единство генетически базируется на единстве общения я обобщения, потому что без последней пары, которая, естественно, у Выготского стала первой, нет вообще ни интеллекта, ни аффекта. Это интересно: и аффекта нет без обобщения, ибо аффект — от кризиса разобщения, которое есть тоже ведь производная от общения, невозможного в его человеческом качестве без обобщения...

Выготский посмотрел в корень психологии и увидел там древнюю как мир и вечно новую подоснову человеческого качества действия, исторически меняющийся способ соединения мысли со словом, способ, предопределяющий поступок. А раз я вспомнил о поступке (не мог не вспомнить, говоря о Л. С. Выготском!), то сама собой возникает фигура М. М. Бахтина. Их загадочный параллелизм и их взаимная дополнительность, их похожесть и разность, и в темах, и в стиле! И в судьбах: Бахтин жил долго и упорно, писал для вечности, не забывая о сиюминутном. Предав все[16], он не предал никого, хотя в таком варианте прожить сквозь советскую историю было крайне трудно...

И Выготский никого не предал, но для этого при его способе жизни ему пришлось погибнуть. Выготский жил быстро и горячо. Он жил публично, государственно и общественно, он руководил наукой и преподавал, организовывал обучение и учился, и всегда исследовал, исследовал, исследовал. Его малый, гуманитарный круг общения был настолько шире, чем у Бахтина, что спастись без подлости в 30-е годы было уже едва ли возможно: он и предпочел сгореть. Бахтин сохранил огонь внутри своего малого круга общения.

Кроме темы внутренней речи, которая была у них общей, только подавалась Бахтиным «из-под маски» в общеметодологическом плане, а Выготским в плане экспериментальном, вернее я бы сказал из-под маски эксперимента, была еще очень личная, с одной стороны, и очень теоретическая, базовая категория у обоих мыслителей: общение.

Общение в терминологии Л. С. Выготского и М. М. Бахтина значит нечто иное, чем коммуникация в американских теориях речи и тем более не равняется социалистическому коллективизму и «коллективной ответственности», о которой говорит применительно в Выготскому (и совершенно неправомерно), например Дж. Брунер [Bruner 1984. Цит. по: Ярошевский 1993: 248]. Что касается Бахтина, то коллективная ответственность может рассматриваться как пародийная изнанка его «персональной участности и ответственности»[17].

---

[16] Ср. признание М. М. Бахтина, записанное С. Г. Бочаровым: «”Вообще тогда разложение было в полном ходу, царило презрение к нравственным устоям, все это казалось смешно, казалось, что все рухнуло”. “М. М., и вам тоже?” — “Ммда, отчасти и мне тоже. Мы ведь все предали — родину, культуру”. — “А как можно было не предать?” — “Погибнуть. Я тогда же начал писать статью “О непогибших”. Статью ненаучную. Конечно, не кончил и, конечно, потом уничтожил”. Все это было сказано с ясным лицом и довольно весело (21.XI.1974)» [Бочаров 1993: 83].

[17] «Я могу совершать политический акт и религиозный обряд как представитель, но это уже специальное действие, которое предполагает факт действительного уполномочения меня, но и

Общение (и по Выготскому, и по Бахтину) восходит к идее экклесии, общины духовно избранных. Не к партии как лучшей и более равной части общества, не к сельской общине с круговой порукой и физической взаимозависимостью ее членов. Исток истинного общения в идее малого круга (ср. знаменитый круг Бахтина 20-х годов[18], тройки и пятерки исследователей вокруг Выготского), вовсе не связанного генетически с чрезвычайными тройками, государственно организующими любой коллектив — от колхоза до Верховного Совета. Ассоциируя Выготского с «коллективной ответственностью» Брунер вполне в духе критикуемой Выготским ассоциационистской психологии структурно переносит опыт всей позднейшей советской истории на 20-е годы, когда еще существовала хотя бы субъективно для участников событий развилка кругов (малый vs большой), выбор между кружками личностей и орбитой тотального единства всех (единица при этом, разумеется, — ноль, вздор; кстати, единица как значение Л.С. Выготского вольно или невольно прокламирует еще и значение единицы) был в центре новой орбиты уже, конечно, предопределен, но не Бахтиным же, не Выготским же!

«Коммуникация» — термин теории информации, термин лингвистики — по сути, гораздо ближе к идее «коммунизма» в ее реальном осуществлении, чем это кажется на второй, углубленно-научный взгляд, который видит здесь простую омонимию корней. Необходимая для функционирования государства информация должна передаваться, она может быть и в основном бывает в последние десятилетия массовой коммуникацией (большевики первыми в истории ввели газету[19] и радио действительно в общенациональный государственный оборот посредством всеобщей подписки и электрификации всей страны) и вовсе не предполагает личного общения, взаимного обучения и развития, ведущего к обобщению, к становлению личности, самостоятельно владеющей общими понятиями. Управляющей части общества кажется выгодным держать остальную его часть на интеллектуальном этапе псевдопонятий, народ, говоря языком этих самых псевдопонятий, должен понимать написанные и произнесенные публично слова как руководство к действию, но ни в коем случае не должен осознавать, что именно он понимает и делает, т.е. должен оставаться в состоянии ребенка доалгебраического, предпонятийного возраста, который

здесь я не отрекаюсь окончательно от своей персональной ответственности, но само мое представительство и уполномоченность ее учитывают. Молчаливой предпосылкой ритуализма жизни является вовсе не смирение, а гордость. Нужно смириться до персональной участности и ответственности. Пытаясь понимать всю свою жизнь как скрытое представительство и каждый свой акт как ритуальный, мы становимся самозванцами» [Бахтин 1986: 121].

[18] «**Дувакин:** Вы... Я-то Вашу книжку помню, но ... Вы не пользовались громкой известностью... **Бахтин:** Нет, я пользовался в очень узких кругах известностью только. Вокруг меня был круг, который называют сейчас «круг Бахтина» ... Вот о нем последнее время часто пишут. Сюда включают прежде всего Пумпянского, Медведева Павла Николаевича, Волошинова. Кстати сказать, все они были в Невеле, кроме, правда, Медведева. **Дувакин:** Медведев — это который потом о Блоке писал, да? **Бахтин:** О Блоке писал, да. Его первая книжка такая была — "Творческий путь Блока". И вот все они трое были в Витебске, и там, в сущности, заложена основа вот этого круга, который потом в Ленинграде обосновался. Там я читал, вел такие частные совершенно, у себя на дому... философский курс, по Канту сначала (я был таким заядлым кантианцем), а потом вообще более широкие темы у нас были» [Беседы 1996: 143].

[19] Одним из первых анализом языка газеты занялся Г. О. Винокур, в частности, в книге «Культура языка» (М., 1930, 2-е изд.), которая готовится к печати издательством «Лабиринт» в рамках Полного собрания трудов Г. О. Винокура. См.: [Винокур 2006].

знает, что он строит коммунизм, но не осмысляет, что собственно он строит... Коммунизм — явно не свободное общение личностей, а идейный круг (totus circus), круговая порука идеи, убеждения, веры и насилия...

Но вернемся к внутренней речи и посмотрим на эту главную героиню книги Выготского сквозь призму общения, потому что именно сквозь такую призму является она тоже одной из главных героинь в «Тетралогии» М. М. Бахтина, который безусловно первым указал на проблемное значение внутренней речи, открыл глубину и перспективу этой проблемы [Пешков 1998б]. Бахтин и Выготский шли к внутренней речи разными путями: говоря терминами книги Выготского, Бахтин обобщал общение и указывал на необходимость типологии общения, типологии жанров внешней речи для подходов к речи внутренней, а Выготский пытался разглядеть общение в обобщении, хотел вывести механизм внутренней речи наружу, в речь, доступную исследованию.

В цепи идей Бахтин → Выготский дело идет о том, что общение организует слово в понятие, а в цепи Выготский → Бахтин — о том, что слово-понятие через понимание-осознание организует общение. Попробуем эскизно проиллюстрировать эти движения на ином, чем у Выготского материале, но в его системе понятий. Рассматривая онтогенез внутренней речи, а также филогенез ее предпосылок, Выготский оставил (не мог не оставить по причине времени, в которое он жил) нишу для изучения исторически более близкого к нам филогенеза, филогенеза самой внутренней речи общества. Попробуем заполнить эту нишу пусть даже не в первом, а в предварительном приближении. Масштабом этого приближения будет Россия XIX — первой трети XX веков.

Итак. Первая треть XIX века. Золотой век русской поэзии. Счастливое детство культуры русского общества, то есть детство, которое имеет уже достойных родителей. Оформление знаменитой русской интеллигенции. С точки зрения рассматриваемого общественного глоттогенеза, перед нами — расцвет устной речи. Бесконечные кружки, салоны, вечера, приемы, балы, утренники, короче говоря вечный «детский праздник», как это чутко сформулировал Пушкин. Детский сад Монтессори, который вспоминает Выготский. Нет, конечно, все серьезно: все по-детски серьезно. Тот же Пушкин требует от прозы «мыслей и мыслей», но это требования гения, обогнавшего свой век (свою четверть века) по крайней мере на фазу: вокруг пока еще «слова, слова, слова».

Это типичная святая и безгрешная речь для других. Безгрешная она потому, что не умеет лгать, ибо у нее нет внутреннего плана, все на поверхности. Чистый пример этой речи для других — декабристы. Тайное общество открытых речей[20]. Грибоедов точно зафиксировал эту стадию речевого развития в Чацком. Горе от ума — беда для того, у кого этот ум наружно вербализован.

Фамусовское окружение учит ребенка-Чацкого интериоризовывать речь так же, как наступившая вскоре николаевская реакция учит русскую интеллигенцию искусству красноречивого молчания. Взятая историей тридцатилетняя пауза научила Россию думать в той мере, в какой это было возможно на данной, подростковой стадии развития речи. Вторую треть века Россия осмысляла все, что она наговорила за первую треть. Это был период развития собственно внутренней речи общества, формирование понятий, период взросления, при-

[20] Подробнее см.: [Пешков 1998а: 197–216].

ведший уже в следующей трети века к новому расцвету культуры, теперь уже не только устной, а, следовательно, имеющей значение не для одной России.

Последняя треть — интеллект нации уже обладает понятиями, уже осознает свои внутренние творческие процессы и потенции, начинается само создание новой речи во всех ее жанрах и во всех сферах общественного функционирования, отсюда — гласность, судебная реформа, подъем научной и технической мысли, достижения в гуманитарном и художественном творчестве. Россия находится на грани рождения принципиально, исторически нового, на грани обобщения пройденного пути, необычайный расцвет исторической и философской науки, историософский подход Вл. Соловьева и других. Но...

Слишком неодинаковы оказались уровни интеллектуального развития в разных слоях общества и даже, что, возможно, важнее, в разных слоях интеллигенции. Не все дотерпели, доучились до самостоятельных понятий. Зона ближайшего развития у большинства интеллигенции уже готова была принять систематичность научных понятий, но еще не у всех развились способности отличать собственно научные понятия от идеологических псевдопонятий.

Псевдопонятия идеологические отличаются от настоящих понятий, основанных на традиционных общих местах, связанных с этическими ценностями и нормами поведения, тем, что они непосредственно, минуя оценивающую и фильтрующую, систему топики, пытается организовывать самое общение людей. Идеологические псевдопонятия имеют все признаки настоящих понятий по их систематическому происхождению, но функционируют они не в свойственной им сфере научного познания, а в сфере общественного поступка. У них слишком короткая цепочка от речевых до неречевых действий. Собственно материализм на практике и есть сокращение логических цепей, даже отрицание ценности этих логических цепей, третирование их как тавтологий и умствования.

Практика — критерий истины, а истина есть опрощенное от первоначальной научной (философской) системы понятие типа «классовой борьбы», которое и начинает организовывать общение по цепочке: легальный марксизм, кружки, нелегальный марксизм, подпольные кружки. Готовое понятие Маркса легло на развившуюся способность русского общества, произошло смыкание спонтанных понятий («брат» — пример из книги Выготского) и так называемых научных понятий («эксплуатация» — у Выготского этот пример также, конечно, не случаен). «Брат» на «брата» — вот тебе научное понятие гражданской войны! Возникшее псевдопонятие «классовый враг» оказалось гораздо доступнее обывательским массам в первой трети XX века, чем философские и эстетические изыски века серебряного.

Конец первой трети XX века и начало второй окончательно заменили начавшееся было в конце XIX века единение общения и обобщения новым единством: консолидацией общения и обобществления. Если развитие речи общества в XIX веке шло по пути становления понятий, то доминирующим речевым развитием в XX веке стало эмоциональное заражение. Это уловил Л. С. Выготский еще в своей первой книге (1925 — год готовности к изданию; впервые опубликована в 1965, впервые опубликована без купюр в 1997 издательством «Лабиринт»): «Взгляд Толстого поддерживает Бухарин, который тоже смотрит на искусство, как на заражение, и называет его средством обобществления чув-

ства» [Выготский 1997: 297][21]. Вот точная оценка нового подхода к общению, минующему настоящие понятия, — обобществление чувства! Это обобществление чувства не менее чем обобществление скота в колхоз скомпрометировало идею общения личностей, и на Западе в испуге предпочли строгую, гордо независимую коммуникацию. Коммуникацию, построенную по модели рыночного обмена. Принцип торговли перешел в риторику: ты мне, я тебе, деньги за товар, за информацию — информацию или опять-таки деньги, за подлинную улыбку — вообще миллион, а не то что там дармовое обобществление чувства.

Общение перестало быть ценностью само по себе безотносительно к его дальнейшим целям: с одной, западной стороны (ср. знаменитую тему «time is money») время общения строго дозируется и оценивается именно в смысле цены, и с другой, нашей стороны разобщающего занавеса, общение становится слишком ценным, слишком дорогим удовольствием (за это удовольствие приходилось платить жизнью или жизнью в хронотопе лагеря).

Тема общения (самая антисоветская и самая антизападная) является самой общечеловеческой темой, болевым нервом общечеловеческого развития. И Выготский[22], и Бахтин этот конвергентный нерв нащупали! Главное — духовно и физически свободное общение, пусть площадное (агора — тоже площадь), пусть вульгарное (риторика вышла из разговора с толпой), но неподрасстрельное, непринужденное — ни морально, ни экономически — общение! Если выполняется это главное риторическое требование к функционированию общества, то остальное приложится, и развитие внутренней речи, и творческое изобретение, и логичное расположение, и бодрое воплощение.

Литература

Аверинцев 1977 — *Аверинцев С. С*. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Наука, 1977. 311 с.

Аверинцев 1981а — *Аверинцев С. С*. Древнегреческая поэтика и мировая литература // Поэтика древнегреческой литературы. М.: Наука, 1981. С. 3–14.

Аверинцев 1981б — *Аверинцев С. С*. Риторика как подход к обобщению действительности // Вопросы литературы. 1981. № 4. С. 153–179.

Аннушкин 1996 — *Аннушкин В. И*. Кто же автор и составитель анонимной «Теории словесности» 1851–1860 годов? // Риторика. 1996. № 1(3). С. 38–47.

Античные риторики 1978 — Античные риторики. М.: Изд-во МГУ, 1978. 352 с.

Барановская 1991 — *Барановская В. М*. Рыцарь риторики // Наука убеждать: риторика. 1991. № 1. С. 3–7.

[21] Мы подчеркиваем здесь издательство, поскольку в последнее время «Психология искусства» переиздается массовыми тиражами, но все эти тиражи (не говоря уже об их полупиратском характере) просто воспроизводят второе, советское издание, местами стилистически искаженно и неполно воспроизводящее оригинал. В частности, все теоретические куски в начале и в конце книги, связанные с именами Бухарина и Троцкого, конечно отсутствуют. Купюры в первом советском издании были не маленькие и значимые для общего восприятия книги. Не думаю, что издательская ситуация изменилась четверть века спустя. По крайней мере, ко мне как публикатору аутентичного варианта текста «Психологии искусства» никто не обращался.

[22] Об укоренении Л. С. Выготского в новейшей риторической парадигме см. мою статью: [Пешков 1998в]. Круг замкнулся!

Бахтин 1975 — *Бахтин М. М.* Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. С. 6–71.

Бахтин 1986 — *Бахтин М. М.* <К философии поступка> // Философия и социология науки и техники. Ежегодник. 1984–1985. М.: Наука, 1986. С. 80–160.

Белинский 1958 — *Белинский В. Г.* Общая риторика Н. Кошанского // Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М.: Изд-во АН СССР, 1958. Т. 8. С. 272–277.

Беседы 1996 — Беседы В. Д. Дувакина с М. М. Бахтиным. М.: Прогресс, 1996. 440 с.

Безменова 1985 — *Безменова Н. А.* Краткая история французской риторики. АКД. М.: Институт языкознания АН СССР, 1985. 24 с.

Библер 1996 — *Библер В. С.* Понимание Л. С. Выготским внутренней речи и логика диалога (еще раз о предмете психологии) // Выготский Л. С. Мышление и речь. М.: Лабиринт, 1996. С. 297–378.

Библиография 1996 — Библиография трудов К. П. Зеленецкого / сост. В. И. Аннушкин // Риторика. 1996. № 1 (3). С. 48–52.

Бочаров 1993 — *Бочаров С. Г.* Об одном разговоре и вокруг него // Новое литературное обозрение. 1993. № 2. С. 70–89.

Варшава, Выготский 1931 — *Варшава Б. Е., Выготский Л. С.* Психологический словарь. М.: Государственное учебно-педагогическое издательство, 1931. 208 с.

Виноградов 1930 — *Виноградов В. В.* О художественной прозе. М.-Л.: Госиздат, 1930. 186 с.

Винокур 2006 — *Винокур Г. О.* Культура языка. М.: Лабиринт, 2006. 352 с.

Волков 1986 — *Волков А. А.* Концепции публичной речи и единицы языка // Роль языка в средствах массовой коммуникации. М.: ИНИОН АН СССР, 1986. С. 41–63.

Волков, Хабаров 1984 — *Волков А. А., Хабаров И. А.* Шестая мировая загадка. М.: Знание, 1984. 208 с.

Выготский 1983 — *Выготский Л. С.* История развития высших психических функций // Собр. соч.: в 6 т. М.: Педагогика, 1983. Т. 3. С. 5–328.

Выготский 1986 — Неопубликованная рукопись Выготского // Вестник МГУ. Сер. 14. «Психология». 1986. № 1. С. 51–64.

Выготский 1996 — *Выготский Л. С.* Мышление и речь. Психологические исследования. М.: Лабиринт, 1996. 416 с.

Выготский 1997 — *Выготский Л. С.* Психология искусства. Анализ эстетической реакции. М.: Лабиринт, 1997. 416 с.

Гаспаров 1972 — *Гаспаров М. Л.* Цицерон и античная риторика // Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. М.: Наука, 1972. С. 7–73.

Дюбуа 1986 — *Дюбуа Ж. и др.* Общая риторика. М.: Progress, 1986. 392 с.

Зарифьян 1995 — *Зарифьян И. А.* Общая и частная риторика в истории курса «Теория словесности» // Риторика. 1995. № 1. С. 96–123.

Зеленецкий 1991 — *Зеленецкий К. П.* Исследование о риторике в ее наукообразном содержании и в отношениях, какие она имеет к общей теории слова и к логике. М.: Знание, 1991.

Зеленецкий 1846 — *Зеленецкий К. П.* Исследование о риторике в ее наукообразном содержании и в отношениях, какие она имеет к общей теории слова и к логике. Одесса: Типография Францова и Нитче, 1846. 138 с.

Иванов 1976 — *Иванов Вяч. Вс.* Очерки по истории семиотики в СССР. М.: Наука, 1976. 284 с.

Квинтилиан 1834 — *Квинтилиан М. Ф.* Двенадцать книг риторических наставлений. Спб.: Типография Императорской Академии Наук, 1834. 450 с.

Ковельман 1988 — *Ковельман А. Б.* Риторика в тени пирамид. М.: Наука, 1988. 192 с.

Леонтьев 1990 — *Леонтьев А. А.* Л. С. Выготский. М.: Просвещение, 1990. 158 с.

Мерзляков 1817 — *Мерзляков А. Ф.* Краткая риторика. М.: Университетская типография, 1817. 142 с.

Овсянико-Куликовский 1923 — *Овсянико-Куликовский Д. Н.* Теория поэзии и прозы. М.–Пг.: Госиздат, 1923. 128 с.

Пешков 1989 — *Пешков И. В.* Три июля в беседах о речевом общении [Текст]. М.: Знание, 1989. 64 с.

Пешков 1996 — *Пешков И. В.* М. М. Бахтин: от философии поступка к риторике поступка. М.: Лабиринт, 1996. 176 с.

Пешков 1998а — *Пешков И. В.* Введение в риторику поступка. М.: Лабиринт, 1998. 288 с.

Пешков 1998б — *Пешков И. В.* Новый Органон // Бахтин М. М. Тетралогия. М.: Лабиринт, 1998. С. 542–579.

Пешков 1998в — *Пешков И. В.* О(т)речение мысли // Пешков И. В. Введение в риторику поступка. М.: Лабиринт, 1998. С. 110–136.

Пешков 1999 — *Пешков И. В.* Еще раз «Мышление и речь», или о предмете риторики // Выготский Л. С. Мышление и речь. Изд. 5-е. М.: Лабиринт, 1999. С. 5–22.

Пешков 2025 — *Пешков И. В.* Гуманизация оптики (как концепция В. И. Тюпы включает С. С. Аверинцева в диалог согласия с М. М. Бахтиным) // Преподаватель. Автор: к 80-летию Валерия Игоревича Тюпы: сборник научных статей / сост. и ред. А. Е. Аграти, Ю. В. Доманский, В. Я. Малкина. М.: Эдитус, 2025. С. 120–127.

Потебня 1894 — *Потебня А. А.* Из лекций по теории словесности. Харьков: Типография К. Счасни, 1894. 182 с.

Потебня 1922 — *Потебня А. А.* Мысль и язык // Полн. собр. соч. Одесса: Госиздат Украины, 1922. Т. 1. 192 с.

Радченко 1984 — *Радченко В. Н.* Учение Петра Рамуса в истории американской риторики // Риторика и стиль. М.: Изд-во МГУ, 1984. С. 69–82.

Рижский 1805 — *Рижский И. С.* Опыт риторики. Харьков: Университетская типография, 1805. 320 с.

Рождественский 1979 — *Рождественский Ю. В.* Проблематика современной теории текста в книге В. В. Виноградова «О художественной прозе» // Синтаксис текста. М.: Наука, 1979. С. 97–99.

Фрейберг 1975 — *Фрейберг Л. А.* Литературная критика в эпоху александрийской образованности // Древнегреческая литературная критика. М.: Наука, 1975. С. 180–232.

Фрейденберг 1978 — *Фрейденберг О. М.* Миф и литература древности. М.: Наука, 1978. 606 с.

Цицерон 1972 — *Цицерон.* Об ораторе // Три трактата об ораторском искусстве. М.: Наука, 1972. С. 75–252.

Цицерон 1994 — *Цицерон.* О нахождении материала // Цицерон. Эстетика / Трактаты. Речи. Письма. М.: Искусство, 1994. С. 52–55.

Ярошевский 1993 — *Ярошевский М. Г.* Л. Выготский: в поисках новой психологии. СПб.: Фонтанка, 1993. 301 с.

Bruner 1984 — *Bruner J.* Vygotsky's Zone of Proximal Development: the Hidden Agenda // Children's Learning in Zone of Proximal Development. San Francisco: Jossey-Bass, 1984. Pp. 91–97.

Kinneavy 1987 — *Kinneavy J. L.* Greek rhetorical origins of Christian faith. N.Y., Oxford: Oxford University Press, 1987. 186 p.

Groupe μ 1970 — Rhétorique générale par le groupe μ. P.: Larousse, 1970. 256 p.

Ogden, Richards 1923 — *Ogden Ch. K., Richards J. A.* The meaning of meaning. L.: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1923. 364 p.

References

Ancient Rhetorics. 1978 — Ancient Rhetorics. Moscow, Moscow State University Publ., 1978. (In Russian).

Annushkin 1996 — Annushkin V. I. Who is the Author and Compiler of the Anonymous «Theory of Literature» of 1851–1860. Rhetoric. 1996. No. 1(3). P. 38–47. (In Russian).

Averintsev 1977 — Averintsev S. S. Poetics of Early Byzantine Literature. Moscow, Nauka Publ., 1977. (In Russian).

Averintsev 1981a — Averintsev S. S. Ancient Greek Poetics and World Literature. In: Poetics of Ancient Greek Literature. Moscow, Nauka Publ., 1981. P. 10–11. (In Russian).

Averintsev 1981b — Averintsev S. S. Rhetoric as an Approach to Generalizing Reality. Problems of Literature. 1981. No. 4. P. 153–179. (In Russian).

Baranovskaya 1991 — Baranovskaya V. M. The Knight of Rhetoric. The Science of Persuasion: Rhetoric. 1991. No. 1. P. 3–7. (In Russian).

Bakhtin 1975 — Bakhtin M. M. The Problem of Content, Material, and Form in Verbal Artistic Creativity. In: Problems of Literature and Aesthetics. Moscow, Khudozhestvennaya Literatura Publ., 1975. P. 6–71. (In Russian).

Bakhtin 1986 — Bakhtin M. M. <Toward a Philosophy of the Act>. In: Philosophy and Sociology of Science and Technology. Yearbook. 1984–1985. Moscow, Nauka Publ., 1986. P. 80–160. (In Russian).

Belinskiy 1958 — Belinskiy V. G. General Rhetoric by N. Koshansky. In: Complete Works. Moscow, USSR Academy of Sciences Publ., 1958. Vol. 8. (In Russian).

Besedy 1996 — V. D. Duvakin's Conversations with M. M. Bakhtin. Moscow, Progress Publ., 1996. (In Russian).

Bezmenova 1985 — Bezmenova N. A. A Brief History of French Rhetoric. Author's Abstract of Cand. Diss. Moscow, Institute of Linguistics of the USSR Academy of Sciences, 1985. (In Russian).

Bibler 1996 — Bibler V. S. L. S. Vygotsky's Understanding of Inner Speech and the Logic of Dialogue (Once More on the Subject of Psychology). In: Vygotsky L. S. Thinking and Speech. Moscow, Labirint Publ., 1996. P. 304, 376. (In Russian).

Bibliography of Zelenetsky's Works 1996 — Bibliography of Zelenetsky's Works Compiled by V.I. Annushkin. Rhetoric, 1996. No. 1(3). (In Russian).

Bocharov 1993 — Bocharov S. G. About One Conversation and Around It. // New Literary Observer, 1993. No. 2, P. 83. (In Russian).

Bruner 1984 — Bruner J. Vygotsky's Zone of Proximal Development: the Hidden Agenda. In: Children's Learning in Zone of Proximal Development. San Francisco, Jossey-Bass, 1984. (Quoted from: Yaroshevsky M. G. L. Vygotsky: In Search of a New Psychology. St. Petersburg, Fontanka Publ., 1993. P. 248).

Cicero 1972 — Cicero. On the Orator. In: Three Treatises on the Art of Oratory. Moscow, Nauka Publ., 1972. (In Russian).

Cicero 1994 — Cicero. On Invention. In: Cicero. Aesthetics / Treatises. Speeches. Letters. Moscow, Iskusstvo Publ., 1994. P. 52–55. (In Russian).

Dyubua 1986 — Dubois J. et al. General Rhetoric. Moscow, Progress Publ., 1986. (In Russian).

Freiberg 1975 — Freiberg L. A. Literary Criticism in the Era of Alexandrian Enlightenment. In: Ancient Greek Literary Criticism. Moscow, Nauka Publ., 1975. (In Russian).

Freydenberg 1978 — Freydenberg O. M. Myth and Literature of Antiquity. Moscow, Nauka Publ., 1978. (In Russian).

Gasparov 1972 — Gasparov M. L. Cicero and Ancient Rhetoric. In: Three Treatises on the Art of Oratory. Moscow, Nauka Publ., 1972. P. 18. (In Russian).

Groupe μ 1970 — Rhétorique générale par le groupe μ [General Rhetoric by the Group μ]. Paris, Larousse, 1970.

Ivanov 1976 — Ivanov Vyach. Vs. Essays on the History of Semiotics in the USSR. Moscow, Nauka Publ., 1976. P. 28–36. (In Russian).

Kinneavy 1987 — Kinneavy J. L. Greek Rhetorical Origins of Christian Faith. New York, Oxford University Press, 1987.

Kovelman 1988 — Kovelman A. B. Rhetoric in the Shadow of the Pyramids. Moscow, Nauka Publ., 1988. (In Russian).

Kvintilian 1834 — Quintilian M. F. Institutio Oratoria in Twelve Books. St. Petersburg, Typography of the Imperial Academy of Sciences, 1834. (In Russian).

Leontiev 1990 — Leontiev A. A. L. S. Vygotsky. Moscow, Prosveshchenie Publ., 1990. (In Russian).

Merzlyakov 1817 — Merzlyakov A. F. Brief Rhetoric. Moscow, University Typography, 1817. P. 36–37. (In Russian).

Ogden, Richards 1923 — Ogden Ch. K., Richards J. A. The Meaning of Meaning. London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1923.

Ovsyaniko-Kulikovskiy 1923 — Ovsyaniko-Kulikovskiy D. N. Theory of Poetry and Prose. Moscow, Petrograd, Gosizdat Publ., 1923. (In Russian).

Peshkov 1989 — Peshkov I. V. Three Julys in Conversations about Speech Communication. Moscow, Znanie Publ., 1989. 64 p.

Peshkov 1996 — Peshkov I. V. M. M. Bakhtin: From the Philosophy of the Act to the Rhetoric of the Act. Moscow, Labirint Publ., 1996. (In Russian).

Peshkov 1998a — Peshkov I. V. Introduction to the Rhetoric of the Act. Moscow, Labirint Publ., 1998. (In Russian).

Peshkov 1998b — Peshkov I. V. New Organon. In: Bakhtin M. M. Tetralogy. Moscow, Labirint Publ., 1998. P. 542–579. (In Russian).

Peshkov 1998c — Peshkov I. V. Renunciation of Thought. // In: Peshkov I. V. Introduction to the Rhetoric of the Act. Moscow, Labirint Publ., 1998. P. 110–136. (In Russian).

Peshkov 1999 — Peshkov I. V. Once More on «Thinking and Speech», or on the Subject of Rhetoric. In: Vygotskiy L. S. Thinking and Speech. 5th ed. Moscow, Labirint Publ., 1999. P. 5–22. (In Russian).

Peshkov 2025 — Peshkov I. V. Humanization of Optics (How V. I. Tyupa's Concept Includes S. S. Averintsev into the Dialogue of Agreement with M. M. Bakhtin). In: Agratin A. E., Domanskiy Yu. V., Malkina V. Ya. (eds.) Teacher. Author: To the 80th Anniversary of Valery Igorevich Tyupa: Collection of Scientific Articles. Moscow, Editus Publ., 2025. P. 120–127. (In Russian).

Potebnya 1894 — Potebnya A. A. From Lectures on the Theory of Literature. Kharkov, K. Schasni Typography, 1894. (In Russian).

Potebnya 1922 — Potebnya A. A. Thought and Language. In: Complete Works. Odessa, Gosizdat Ukrainy Publ., 1922. Vol. 1. (In Russian).

Radchenko 1984 — Radchenko V. N. The Teaching of Peter Ramus in the History of American Rhetoric. In: Rhetoric and Style. Moscow, Moscow State University Publ., 1984. P. 69–82. (In Russian).

Rizhskiy 1805 — Rizhskiy I. S. An Essay on Rhetoric. Kharkov, University Typography, 1805. (In Russian).

Rozhdestvenskiy 1979 — Rozhdestvenskiy Yu. V. Problems of Modern Text Theory in V. V. Vinogradov's Book «On Artistic Prose». In: Syntax of Text. Moscow, Nauka Publ., 1979. P. 97–99. (In Russian).

Varshava, Vygotskiy 1931 — Varshava B. E., Vygotskiy L. S. Psychological Dictionary. Moscow, Gosudarstvennoe Uchebno-Pedagogicheskoe Izdatelstvo Publ., 1931. (In Russian).

Vinogradov 1930 — Vinogradov V. V. On Artistic Prose. Moscow, Leningrad, Gosizdat Publ., 1930. (In Russian).

Vinokur 2006 — Vinokur G. O. Language Culture. Moscow, Labirint Publ., 2006. (In Russian).

Volkov 1986 — Volkov A. A. Concepts of Public Speech and Language Units. In: The Role of Language in Mass Media. Moscow, INION AN USSR Publ., 1986. P. 41–63. (In Russian).

Volkov, Khabarov 1984 — Volkov A. A., Khabarov I. A. The Sixth Riddle of the World. Moscow, Znanie Publ., 1984. (In Russian).

Vygotsky 1986 — Vygotskiy L. S. An Unpublished Manuscript of Vygotsky. Moscow University Psychology Bulletin, 1986. No. 1. P. 51–64. (In Russian).

Vygotsky 1996 — Vygotskiy L. S. Thinking and Speech. Psychological Research. Moscow, Labirint Publ., 1996. (In Russian).

Vygotsky 1997 — Vygotskiy L. S. Psychology of Art. Analysis of Aesthetic Reaction. Moscow, Labirint Publ., 1997. P. 297. (In Russian).

Vygotsky Coll. Works — Vygotskiy L. S. The History of the Development of Higher Mental Functions. In: Collected Works in 6 vols. Moscow, Pedagogika Publ., vol. 3. (In Russian).

Yaroshevsky 1993 — Yaroshevskiy M. G. L. Vygotsky: In Search of a New Psychology. St. Petersburg, Fontanka Publ., 1993. (In Russian).

Zarifyan 1995 — Zarifyan I. A. General and Private Rhetoric in the History of the Course «Theory of Literature». Rhetoric, 1995. No. 1. P. 96–123. (In Russian).

Zelenetskiy 1846 — Zelenetskiy K. P. An Investigation of Rhetoric in Its Scientific Content and in Its Relations to the General Theory of the Word and to Logic. Odessa, Frantsov and Nitche Typography, 1846. (In Russian).